

A woman with dark hair styled in a bun, wearing a black dress, a gold watch, and a necklace, is sitting in front of a restaurant named MarGŌ at night. The restaurant's interior is visible through the glass windows, showing warm lighting and chandeliers. The woman is looking off to the side with a slight smile.

MarGŌ

НЕ ТА В СЕХ

Её жизнь. Её выбор.
Её правда.

АНЯ БЕРДНИКОВА

Аня Бердникова

Не для всех

<https://litres.ru/74226073>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Не для всех» — это напряжённый психологический роман о памяти, молчании и цене, которую платят те, кто решил быть справедливым в мире, где это никому не нужно.

Аня Бердникова

Не для всех

Глава 1

ПРОЛОГ

Он приехал на двадцать восемь минут раньше.

Потом, когда всё уже случилось, когда он будет стоять посреди пустого зала с выключенным диктофоном и совершенно бессмысленным блокнотом в руке, он почему-то вспомнит именно эти двадцать восемь минут. Не лицо администратора, не мокрый асфальт в переулке, не странное первое письмо, начинавшееся с оскорбительно школьного слова «Колбаса», а именно их — двадцать восемь минут, отделявшие его от назначенного времени.

Двадцать восемь минут — это не запас. Запас — это десять. Пятнадцать, если человек воспитан нервной матерью и с детства знает, что лучше прийти рано и потом мучиться, чем опоздать и мучить всех остальных.

Двадцать восемь минут — это уже почти признание в слабости.

Артём Синицын слабым себя не считал.

Он считал себя человеком рассудительным, осторож-

ным и в меру циничным. Последнее было особенно важно для профессии. Журналист без цинизма похож на зонтик без ручки: вроде бы предмет узнаваемый, но пользоваться неудобно.

Впрочем, сегодня его цинизм где-то задерживался. Возможно, ехал в другом такси.

Такси высадило его у старого дома в переулке между шумной улицей и бульваром. Дом был из тех, что в Москве умеют выглядеть одновременно усталыми и дорогими. Высокие окна первого этажа светились тёплым янтарным светом, за стеклом двигались тени официантов, на мокром асфальте расплывались красные огни машин. Было начало ноября, тот самый московский вечер, когда город уже понял, что осень окончательно проиграла, но зима ещё не подписала акт приёмки.

Артём поднял воротник пальто и посмотрел на фасад.

Вывеска висела над входом, но разобрать её сразу не получилось. Золотые буквы отражали небо, дождь, фонарь и собственную значительность. Артём не стал всматриваться. Ему было всё равно, как называется ресторан. Он пришёл не есть. Он пришёл брать интервью.

Это звучало солидно.

На самом деле он пришёл бояться.

В письме от помощника было всего три строки:

Адрес.

Время.

И фраза: «Опоздание больше чем на десять минут будет считаться отказом от интервью».

Артём перечитал её тогда три раза. Не потому что не понял. Наоборот, понял прекрасно. Некоторые люди умели ставить точку в конце предложения так, что она выглядела как дверной засов.

Редактор, Марина Львовна, сказала ему утром:

— Не вздумай начинать с успеха.

— А с чего начинать с человеком, который стал известен именно благодаря успеху?

— С молчания, — сказала Марина Львовна.

— Это новый формат интервью?

— Это старый формат выживания. Она терпеть не может, когда её раскладывают по полочкам. Особенно чужие люди. Особенно мужчины. Особенно журналисты.

— То есть шансов у меня нет.

— Шанс есть всегда, Артём. Просто иногда он выглядит как маленькая дырка в бетонной стене. Твоя задача — пролезть и не застрять.

И вот теперь он стоял перед рестораном, где его ждал бетон, дырка и, возможно, профессиональная смерть.

Дверь оказалась тяжёлой, но открылась легко. Внутри пахло кофе, полированным деревом, свежим хлебом и чем-то ещё — неуловимым, дорогим, спокойным. Так, наверное, пахнут места, где человек ещё до меню понимает, что картошку по-деревенски здесь просить не следует.

У стойки администратора стояла молодая женщина в чёрном платье. Лицо у неё было приветливое, но не простое. Такие лица бывают у людей, которые за день видели миллион человеческих капризов и ни одному из них не позволили оставить след.

— Добрый вечер, — сказала она. — Вы к нам?

Артём на секунду задумался, как именно правильно ответить на этот вопрос. «Да» звучало слишком по-гостевому. «На интервью» — слишком самоуверенно. «Меня ждут» — слишком по-киношному.

— Синицын, — сказал он наконец. — На семь часов.

Администратор посмотрела в планшет.

— Да, конечно. Проходите, пожалуйста. Встреча немного задерживается.

Артём внутренне усмехнулся. «Немного задерживается» — великая фраза. В ней может скрываться всё что угодно: от пяти минут до внезапного отъезда в Женеву.

— Насколько немного?

Администратор подняла на него глаза. Очень спокойные глаза.

— Пока не могу сказать точно. Вам будет удобно подождать в зале?

— Конечно.

Это было неправдой. Ему вообще не было удобно. Ни ждать, ни сидеть, ни быть собой.

Но он прошёл за ней.

Зал был ещё закрыт для гостей. Столы стояли ровно, как участники парада. На белых скатертях лежали салфетки, сложенные с такой аккуратностью, что Артём почувствовал себя человеком, который мнёт пространство одним своим присутствием. Бокалы ловили свет, приборы блестели, маленькие вазочки с цветами выглядели так, будто их выбирали не флористы, а психологи.

Его посадили у окна.

— Кофе? Воду?

— Кофе, пожалуйста. И воду.

Он хотел добавить: «И какое-нибудь средство от профессиональной паники», но сдержался.

Когда администратор отошла, Артём достал ноутбук. Потом диктофон. Проверил заряд. Сорок семь процентов. Отлично. Почти половина. Почти жизнь.

Телефон мигнул сообщением от Марины Львовны.

«Ты на месте?»

Артём набрал: «Да».

Ответ пришёл мгновенно.

«Не раздражай её умом. Сначала слушай».

Он посмотрел на сообщение с чувством человека, которому выдали очень полезную инструкцию вроде «при падении с самолёта постарайтесь не разбиться».

«Спасибо», — написал он.

Марина Львовна прислала смайлик. Не весёлый. Хищный.

Кофе принесли в маленькой белой чашке. Рядом поставили стакан воды и крошечное печенье, которое выглядело так, будто его нельзя есть без рекомендации искусствоведа.

Артём сделал глоток. Кофе был прекрасный. Это его почему-то окончательно расстроило. В плохих местах легче работать: там всё объяснимо. Плохой свет, плохой сервис, плохой кофе, плохие люди, плохие ответы. А здесь всё было слишком хорошо. Слишком выверено. Слишком спокойно. Как будто ресторан не принимал гостей, а проверял их на соответствие.

Он открыл почту.

В папке «Входящие» висело десять непрочитанных писем.

Все пришли за последние два дня. Все были ответами на один и тот же запрос, который он разослал неделю назад почти без надежды. Люди вообще плохо отвечают на письма. Особенно если письмо начинается со слов «Я журналист». В этот момент у нормального человека включается инстинкт самосохранения, а у ненормального — желание немедленно рассказать всю правду о соседях, начальстве и бывшем муже.

Марина Львовна назвала это «сбором интонаций».

— Факты она тебе и сама даст, если захочет, — сказала редактор. — А если не захочет, ты их всё равно не получишь. Тут важнее другое.

— Что?

— Как о ней говорят, когда думают, что говорят не о себе.

— А они говорят о себе?

— Всегда, Артём. Люди только этим и занимаются.

Он тогда промолчал, потому что спорить с Мариной Львовной было всё равно что спорить с рентгеном. Можно, конечно, настаивать, что у тебя всё прекрасно, но снимок уже готов.

Артём не стал открывать свой исходящий запрос. Он и так помнил его почти наизусть. Короткий, вежливый, осторожный. Даже слишком осторожный. В таких письмах всегда есть что-то унижительное: ты просишь незнакомых людей выпустить тебя в чужую память, а сам обещаешь обращаться с ней бережно, хотя прекрасно понимаешь, что бережность и профессия не всегда живут в одной квартире.

Первое письмо было от Светланы Орловой.

Тема: «Вы спрашивали».

Артём открыл.

«Вы спрашиваете, какой она была.

Смешной вопрос. В школе мы вообще не думали, что она какая-то. Для нас она была просто Колбаса».

Он остановился на второй строке.

Колбаса.

В пустом дорогом ресторане, среди тонких бокалов, белых скатертей и кофе за цену комплексного обеда в приличной столовой, это слово прозвучало совершенно неприлично. Как если бы кто-то поставил тазик с оливье посреди ювелирного салона.

Артём перечитал фразу ещё раз.

«Для нас она была просто Колбаса».

Он поднял глаза.

У стойки администратор что-то тихо объясняла официанту. Официант слушал так внимательно, будто от расстановки бокалов зависела судьба человечества. За стеклом по переулку прошёл мужчина с собакой. Собака посмотрела на ресторан с явным сомнением и потянула хозяина дальше. Умное животное.

Связь между школьной кличкой и сегодняшней встречей казалась сомнительной.

Хотя всё самое интересное в его работе обычно начиналось именно с сомнительного.

Артём снова посмотрел в ноутбук.

«Если вы хотите красивую историю про сильную девочку, которая с детства знала, чего добьётся, то это не ко мне. Я таких девочек в нашей школе не помню. У нас все знали только одно: как бы не получить двойку по геометрии, как бы не сесть рядом с Витькой Рябовым, который плевался через трубочку, и как бы не оказаться крайней на субботнике.

Она была тихая. Не забитая, нет. Это разные вещи. Забитый человек боится, что его заметят. А она, мне кажется, просто не видела в нашем внимании никакой пользы».

Артём чуть улыбнулся.

Это уже было интересно.

Он отпил кофе, поставил чашку на блюдце и начал читать

дальше.

ГЛАВА ПЕРВАЯ «КОЛБАСА»

Письмо Светланы Орловой было длинным.

Слишком длинным для человека, который в начале написал: «Я, честно говоря, не знаю, что вам рассказать». Артём давно заметил: именно после этой фразы люди обычно рассказывают всё. Иногда даже то, чего у них не спрашивали, не требовали и, если по совести, лучше бы никогда не знать.

«Я, честно говоря, не знаю, что вам рассказать.

Про школу сейчас все вспоминают либо с умилением, либо с ужасом. Умиление, по-моему, выдумали те, кто плохо помнит. А ужас — те, кто слишком хорошо.

У нас была обычная школа. Не плохая и не хорошая. Пятиэтажная, кирпичная, с вечным запахом мокрой тряпки, столовской капусты и мела. Зимой в раздевалке парили батареи, весной подоконники были заставлены рассадой, которую приносила биологичка, а осенью все писали сочинение «Как я провёл лето», хотя никому, включая учительницу, не было до этого никакого дела.

Она пришла к нам в пятом классе.

Я помню это потому, что в тот день у меня украли варежку. Одну. Левую. И я очень плакала, хотя сейчас понимаю: если бы в моей жизни всегда исчезали только левые варежки, я была бы счастливейшим человеком.

Её привела завуч. Завуч у нас была маленькая, квадратная и несчастная, как табуретка, которую всё время двига-

ют не туда. Она открыла дверь посреди урока математики и сказала:

— Дети, у нас новенькая.

Все, конечно, сразу обернулись.

Новенькая стояла у двери и держала портфель двумя руками. Портфель был старый, коричневый, с металлическими застёжками. Сейчас такие, наверное, покупают на блошинных рынках за большие деньги и называют винтажом. Тогда это называлось просто: денег нет.

На ней был серый свитер с растянутыми рукавами. Рукава закрывали почти всю кисть, и она всё время поправляла левый — большим пальцем правой руки. Я почему-то это запомнила. Не лицо, не банты, не ботинки. Рукав.

Лицо у неё было обыкновенное. Вот правда. Никаких огромных глаз, никакой роковой красоты, никаких признаков будущей исключительности. Худенькая девочка с прямыми тёмными волосами, собранными в хвост. Губы сжаты. Смотрит не испуганно, а как-то экономно. Будто не хочет тратить на нас зрение.

— Как тебя зовут? — спросила математичка.

— Рита, — сказала она.

— Полностью?

— Маргарита.

Класс зашевелился. У нас тогда Маргарит не было. Были Маши, Лены, Светы, три Наташи, две Оли и одна Эльвира, которая требовала, чтобы её называли Элей, потому что Эль-

вира ей казалось слишком для паспорта. А Маргарита — это было длинно, взрослым голосом и почему-то про духи.

— Фамилия? — спросила математичка, уже записывая что-то в журнал.

Девочка сказала фамилию, и вот тут, конечно, всё началось.

Понимаете, я не хочу писать её. Не потому что не помню. Помню. Такое забыть трудно. Просто сейчас это звучит по-детски жестоко, а тогда нам казалось смешно.

Фамилия была Колбаскина.

Дальше вы сами понимаете.

Если в пятом классе у человека фамилия Колбаскина, у него нет никаких шансов остаться просто Ритой. Дети — существа не злые. Это взрослые любят так говорить, чтобы снять с детей ответственность. Нет, дети бывают злые. Просто у них злость ещё не научилась носить приличную одежду.

Сначала кто-то хихикнул. Потом Витька Рябов, конечно, сказал:

— Колбаса!

И всё. Готово. Имя прилипло.

Математичка стукнула ручкой по столу и сказала, что ещё одно слово — и Рябов пойдёт к директору. Рябов не пошёл. Он умел останавливаться ровно там, где наказание из возможного превращалось в реальное.

Риту посадили за третью парту, рядом с Ленкой Титовой.

Ленка была добрая, но сонная, поэтому через пять минут забыла, что рядом с ней сидит историческое событие. А Рита достала тетрадь, ручку и начала писать.

Вот это я помню очень хорошо.

Она не стала оглядываться. Не стала плакать. Не стала краснеть. Не стала делать вид, что ничего не слышала. Она просто открыла тетрадь и записала тему урока.

“Деление десятичных дробей”.

Как будто только это и имело значение.

В тот день на перемене к ней подошли девочки. Не все. Самые главные. У нас главной была Инга Черепанова. У неё мама работала в торговле, поэтому у Инги всегда были красивые заколки, жвачка и уверенность, что мир устроен правильно, если в нём сначала спрашивают её мнение.

— Ты откуда? — спросила Инга.

— С Автозаводской, — сказала Рита.

— А чего перешла?

— Так надо.

— Кому надо?

Рита посмотрела на неё. Не дерзко. Даже спокойно. Но после этого взгляда Инга почему-то поправила заколку.

— Маме, — сказала Рита.

— А папа?

Рита промолчала.

Вот тут, наверное, надо было остановиться. Но мы же были детьми. Нам казалось, если вопрос пришёл в голову, его

обязательно надо задать вслух.

— А папа где? — спросила Инга.

— Не знаю, — сказала Рита.

И это было странно.

Не потому что отцов у всех было много. Наоборот. У кого-то отец ушёл, у кого-то пил, у кого-то жил в другой семье, у кого-то был, но лучше бы его не было. Но обычно дети всё равно что-то говорили. “В командировке”. “У бабушки”. “Развелись”. “Он моряк”. “Он умер”. Были заготовки, понимаете? Детские ответы для взрослых и друг для друга.

А у неё заготовки не было.

“Не знаю” — и всё.

Инга фыркнула:

— Ясно.

Хотя ничего ей не было ясно.

Потом была столовая. В нашей столовой давали котлеты, которые при падении могли повредить пол, и компот, в котором плавало что-то очень уставшее. Рита купила только чай и кусок хлеба.

— Ты чего не ешь? — спросила Ленка Титова.

— Не хочу.

— А хлеб хочешь?

— Хлеб — это не еда, — сказала Рита.

— А что?

— Возможность.

Мы тогда не поняли. Честно говоря, я и сейчас не уверена,

что понимаю. Но звучало важно. Ленка потом неделю повторяла: “Хлеб — это возможность”, когда не хотела есть суп.

Кличка, конечно, закрепилась.

Колбаса.

Колбаскина — Колбаса.

Сейчас взрослый человек прочитает и скажет: какое безобразие, надо было вмешаться, где были учителя, где были родители, где была школьная психология. А я вам скажу, где. Нигде. У нас в школе психологом считалась завуч, если она не кричала первые три минуты.

Рита на кличку не отзывалась.

Это тоже было важно.

Она не говорила: “Не называйте меня так”. Не жаловалась. Не дралась. Не убегала. Просто не отзывалась. Будто слова, произнесённые неправильными людьми, не имели силы.

— Колбаса, дай списать!

Молчание.

— Колбаса, тебя к доске!

Молчание.

— Эй, Колбаса!

Молчание.

А если говорили “Рита”, она поворачивалась.

Через месяц это начало всех раздражать. Особенно Витьку Рябова. Ему было необходимо, чтобы его остроумие работало. А оно не работало. Лежало посреди класса, как мокрая тряпка.

Однажды он дёрнул её за рукав.

Тот самый левый, растянутый.

— Ты что, глухая?

Рита посмотрела на его руку. Потом на него.

— Отпусти.

— А то что?

— А то ты будешь жалеть.

Мы все замерли.

Витька, конечно, засмеялся. Он был мальчик крупный, с красными ушами и вечной уверенностью, что сила — это аргумент. Сейчас, я думаю, из него вырос вполне приличный человек. Может быть, даже начальник. У начальников часто бывают красные уши.

— Ой, боюсь, — сказал он.

И тогда Рита взяла его за мизинец.

Не ударила, не толкнула, не закричала. Просто взяла его мизинец и как-то очень аккуратно повернула.

Витька побелел.

— Отпусти! — прошипел он.

— Ты первый, — сказала Рита.

Он отпустил рукав.

Она отпустила палец.

После этого её неделю называли не Колбасой, а Каратисткой, хотя никакого карате там, конечно, не было. Потом всё вернулось. Дети ленивы даже в жестокости: новая кличка требует усилий, старая удобнее.

Но Витька больше её не трогал.

Училась она хорошо. Не блестяще, нет. Не из тех отличниц, которые тянут руку ещё до вопроса и потом страдают, если получили четвёрку. Она училась как человек, который понимает: знания — это не украшение, а инструмент. Молоток не обязан быть красивым. Он должен забивать гвозди.

Особенно у неё шла математика. Математичка её любила, хотя старалась этого не показывать. У нас вообще учителя считали, что любовь к ученику надо скрывать, как преступление.

Однажды после контрольной Рита получила единственную пятёрку в классе.

Инга Черепанова сказала:

— Подумаешь. Зубрила.

Рита посмотрела на неё и ответила:

— Зубрят стихи. Задачи решают.

Инга обиделась страшно. Не на смысл, конечно, а на тон. Тон у Риты был такой, будто она не спорит, а закрывает кассу.

Вот это, наверное, было в ней с самого начала. Она умела закрывать кассу. Разговор, ситуацию, человека. Не грубо. Просто щёлк — и всё. Приходите завтра.

Вы спрашиваете, какой она была.

Она была не милой. Это точно.

Но и не злой.

Она была отдельной.

Понимаете, есть дети, которые хотят в компанию. Есть дети, которые делают вид, что не хотят, потому что их не берут. А она правда не хотела. Или очень рано поняла, что компания — вещь дорогая: за неё надо платить смехом над чужими шутками, чужими секретами и правом быть как все.

У неё, видимо, таких денег не было.

Был один случай. Я его почему-то помню лучше всего.

У нас в классе была девочка Наташа Гордеева. Тихая, полная, с вечным насморком. Её никто особенно не обижал, потому что обижать Наташу было скучно: она сразу плакала, а это портило удовольствие. Но дружить с ней тоже никто не хотел. Наташа пахла лекарствами и носила кофты, связанные бабушкой. Сейчас такие кофты называли бы авторским трикотажем, а тогда называли “Гордеева опять в коврике”.

Перед Новым годом у нас решили устроить чаепитие. Каждый должен был принести что-нибудь к столу. Инга распределяла: кто печенье, кто конфеты, кто мандарины. Рите она сказала:

— Ты принеси колбасу.

Все засмеялись.

Даже я.

Мне стыдно, но я засмеялась. Не потому что было смешно. А потому что все засмеялись, и очень страшно быть единственной, кто молчит.

Рита ничего не ответила.

На следующий день она принесла батон варёной колбасы.

Целый.

Завёрнутый в серую бумагу.

Положила на парту Инге и сказала:

— Режь.

Мы замолчали.

Инга покраснела.

— Ты что, ненормальная?

— Ты просила колбасу.

— Я пошутила!

— А я нет.

И ушла на своё место.

Колбасу потом действительно порезали. Её ела вся параллель. Даже учителя. Математичка сказала, что это очень щедро, а Рита пожала плечами:

— Мама достала.

Тогда слово “достала” означало не раздражение, а подвиг. Достать колбасу было делом серьёзным. Не знаю, как её мама это сделала. Может, через знакомых. Может, отстояла очередь. Может, отдала последние деньги.

Сейчас я думаю: Рита ведь прекрасно понимала, что над ней смеются. И всё равно принесла. Не чтобы понравиться. Не чтобы откупиться. А чтобы превратить их шутку в их неловкость.

Это был первый раз, когда я увидела: она умеет делать так, что человеку становится стыдно без единого упрёка.

А потом случилось с Наташей.

На чаепитии Инга не дала ей сесть за общий стол. Места, видите ли, не хватило. Хотя место было. Просто Наташа в своём “коврике” портила картинку.

Наташа стояла у окна с пластмассовым стаканчиком чая и делала вид, что ей всё равно. Плакать она не хотела. Очень старалась.

Рита взяла свою тарелку, кусок торта, два мандарина и пошла к ней.

— Ты чего? — спросила Инга.

— Там воздух лучше, — сказала Рита.

И села рядом с Наташей на подоконник.

Больше ничего не было. Никакой красивой сцены. Никто не осознал, не раскаялся, не попросил прощения. Инга фыркнула, мальчишки начали кидаться мандариновой кожурой, учительница вошла и сказала, что после праздника все остаются убирать класс.

Но Наташа перестала плакать.

А Рита сидела рядом с ней, ела торт и смотрела в окно.

Я почему-то думаю, что именно такие вещи и делают человека человеком. Не большие подвиги, которые потом удобно пересказывать, а маленькие перемещения. Со своего места — к тому, кому хуже.

Вы спросите, дружили ли мы с ней.

Нет.

Я бы хотела сейчас написать, что да. Что я разглядела в ней глубину, подошла, сказала что-то важное, и мы стали по-

другами на всю жизнь. Но это было бы враньё. Я была обычной девочкой. Обычные девочки хотят, чтобы их звали на дни рождения и не обсуждали за спиной. Для дружбы с Ритой требовалась смелость. У меня её не было.

Мы иногда разговаривали.

Однажды я спросила, почему она не жалуется на кличку.

Она долго смотрела на меня. Потом сказала:

— Если я пожалуюсь, они поймут, что попали.

— А сейчас?

— А сейчас пусть думают.

— Что?

— Что промахнулись.

Мне тогда стало не по себе.

В двенадцать лет человек не должен так разговаривать. В двенадцать лет надо хотеть мороженое, новые кроссовки и чтобы тебя выбрали ведущей на школьном концерте. А она уже знала что-то такое, чего мы не знали.

Может быть, её жизнь научила.

Может быть, характер.

Может быть, и то и другое. Обычно они ходят парой.

Потом, в седьмом классе, она ушла.

Так же внезапно, как появилась.

Классная руководительница сказала: “Рита переходит в другую школу”. Инга сказала: “Ну и ладно”. Витька Рябов сказал что-то грубое. Наташа Гордеева заплакала.

А я помню, что на её парте осталась царапина.

Она сидела и иногда выводила ручкой маленькую букву “М” в углу. Не прямо на виду, а сбоку, где доска парты уходила под крышку. Учителя этого не замечали. Мы тоже почти не замечали.

После её ухода я увидела эту букву.

М.

Не знаю, что она означала. Может, Маргарита. Может, мама. Может, мечта. В двенадцать лет все буквы означают слишком много.

Вот и всё.

Не знаю, помогла ли я вам.

Если вы действительно будете с ней разговаривать, не называйте её Ритой сразу. Не думаю, что она любит, когда чужие люди делают вид, будто имеют право на детство.

И ещё.

Если она поправит левый рукав, не смотрите на него слишком внимательно.

Она заметит».

Артём дочитал письмо и долго сидел неподвижно.

Кофе остыл. Вода в стакане покрылась крошечными пузырьками у стенок. За окном дождь стал мельче, но настойчивее, как человек, который сначала просил вежливо, а теперь решил дождаться результата.

Он вернулся глазами к последней строке.

«Она заметит».

Очень неприятная фраза.

Не потому что в ней была угроза. Угроза как раз была бы понятна. Неприятно было другое: Светлана Орлова, женщина с фотографией кота на аватарке и почтовым адресом, в котором фигурировал год рождения, писала о своей бывшей однокласснице так, будто та до сих пор могла войти в класс, посмотреть на всех экономным взглядом и закрыть разговор одним щелчком.

Артём открыл поисковик и набрал: «Светлана Орлова школа Колбаскина».

Потом стёр.

Не надо.

Пока не надо.

Марина Львовна была права, как это ни раздражало. Факты подождут. Сначала интонация.

Он сделал пометку в блокноте:

«Рукав. Молчание. Не отзывается на кличку. Делает чужую жестокость неловкой».

Подумал и добавил:

«Не для всех».

Слова легли на страницу неожиданно точно.

Не для всех — это могло быть про ресторан, в который трудно попасть. Про женщину, которая не давала интервью. Про девочку, которая не покупала себе место среди других ценой унижения. Про память, которая открывается не каждому и никогда полностью.

Артём посмотрел на пустой зал.

Ему вдруг показалось, что белые скатерти, тонкие бокалы, мягкий свет и безупречная тишина — не роскошь. Это броня. Очень дорогая, очень красивая, тщательно отполированная броня, за которой когда-то стояла девочка в сером свитере с растянутым левым рукавом и старым коричневым портфелем.

И эта девочка не плакала.

Не потому что ей не было больно.

А потому что она слишком рано поняла: если плачешь при всех, кто-то обязательно решит, что имеет на это право.

Телефон снова мигнул.

Марина Львовна:

«Ну?»

Артём посмотрел на экран, потом на письмо, потом снова на экран.

Написал:

«Начинаю понимать, почему она молчит».

Ответ пришёл почти сразу:

«Не обольщайся. Ты только начал понимать, что ничего не понимаешь».

Артём усмехнулся.

Редакторы, как врачи, бывают особенно полезны, когда неприятны.

Он закрыл письмо Светланы Орловой и посмотрел на список остальных непрочитанных сообщений.

Девять.

Девять чужих голосов.

Девять версий одной жизни, которая пока не хотела складываться в биографию.

Следующее письмо было без темы. Отправитель подписался коротко: «Н. Гордеева».

Артём задержал палец на тачпаде.

Наташа.

Та самая девочка у окна. Та самая кофта-«коврик». Та самая, к которой Рита когда-то пересела с тарелкой торта и двумя мандаринами.

Он почему-то почувствовал, что это письмо будет труднее первого.

В зале за его спиной тихо звякнули приборы.

Администратор подошла почти бесшумно.

— Простите, пожалуйста, — сказала она. — Встреча задерживается ещё примерно на двадцать минут. Могу я предложить вам что-нибудь ещё?

Артём хотел сказать «нет».

Но вместо этого спросил:

— У вас есть что-нибудь... простое?

Администратор впервые за вечер улыбнулась не служебно, а почти по-человечески.

— Простое у нас есть. Просто оно не всегда указано в меню.

— Тогда идеально.

Она кивнула и ушла.

Артём снова посмотрел на экран.

Открыл второе письмо.

И в этот момент ему впервые пришло в голову, что он, возможно, пришёл сюда не брать интервью.

Возможно, его сюда вызвали.

И не человек, который задерживался, был главным в этой встрече.

А те, кто уже начал говорить.

ГЛАВА ВТОРАЯ «КОВРИК»

Письмо Наташи Гордеевой начиналось не так, как ожидал Артём.

Он почему-то приготовился к благодарности.

Это было глупо, самонадеянно и совершенно по-журналистски. Услышал в чужом рассказе девочку у окна, которую пожалели, — и немедленно придумал для неё взрослую судьбу: выросла, всё помнит, благодарна, плачет над клавиатурой, пишет трогательно и чуть неловко.

Люди вообще очень любят заранее распределять чужие роли.

Особенно если сами в это время сидят в дорогом ресторане и ждут женщину, которая, возможно, вообще не придёт.

«Здравствуйте.

Вы спрашиваете про Риту Колбаскину. Я не знаю, почему вы решили обратиться именно ко мне. Если вам Света Орлова дала мой адрес, то она зря. Света всегда была уверена, что помнит всё правильно, потому что помнит красиво.

Я не помню красиво.

Я помню как было».

Артём откинулся на спинку стула.

Вот.

Вот за это он любил письма больше телефонных разговоров. В телефоне человек слишком быстро слышит собственный голос и начинает себя редактировать. В письме же, особенно если пишет поздно вечером или после второго чая, человек иногда забывает, что его будут читать. И тогда появляется не информация даже — появляется температура.

У Светланы Орловой была температура раскаяния.

У Наташи Гордеевой — обиды.

Причём не старой, не музейной, накрытой стеклом и подписанной аккуратной табличкой. Нет. Обиды живой, с тёплым дыханием. Такой, какая не стареет, потому что человек почему-то кормит её каждый день, сам того не замечая.

Артём сделал пометку:

«Н.Г. — спорит со С.О. Не доверяет красивой памяти».

Потом продолжил читать.

«Я не была “девочкой у окна”, если вам интересно.

Это Света так пишет, наверное. Она любит, чтобы всё было как в кино: бедная полная девочка, жестокие дети, добрая Рита, мандарины, торт. Очень удобно вспоминать себя свидетельницей чужой доброты. Тогда вроде бы ты тоже где-то рядом с добром стояла.

На самом деле я была не бедная и не несчастная. Полная

— да. Болела часто — да. Кофты мне вязала бабушка — да. Но меня это не убивало. У каждого в школе есть свой мешок, который он таскает. Кто-то таскает фамилию, кто-то — прыщи, кто-то — бедность, кто-то — слишком красивую маму, которая приходит на собрание и все мальчишки потом неделю ржут. У меня была полнота и насморк. Ничего особенного.

А Маргарита...

Маргарита не была доброй.

Вот это важно.

Не пишите про неё, что она была добрая.

Добрых людей я знаю. Они мягкие. Они хотят, чтобы всем стало легче. Они иногда делают глупости, потому что им жалко. Они потом сами страдают от своей доброты, но всё равно продолжают.

Маргарита была не такая.

Она была справедливая.

А это, поверьте, совсем другое».

Артём остановился.

За окном проехала машина, её фары скользнули по стеклу, по белой скатерти, по его пальцам на клавиатуре. На мгновение буквы на экране показались бледными, почти исчезли, но потом снова проявились.

Справедливая.

Марина Львовна любила говорить, что в биографии любого сильного человека есть слово, которое всё объясняет, если найти его достаточно рано. Не профессия. Не травма. Не ам-

биции. А именно слово. Чаще всего простое, почти школьное. «Стыд». «Голод». «Долг». «Злость». «Нельзя».

У Маргариты Колбаскиной, похоже, таким словом могла быть справедливость.

Но справедливость — вещь опасная. Она редко ходит одна. Обычно рядом с ней идут наказание, память и полное отсутствие чувства юмора у тех, кого она касается.

«Она села тогда ко мне не потому, что пожалела.

Не знаю, почему Света так решила. Может, ей хотелось, чтобы кто-то в нашем классе всё-таки был человеком. Может, ей надо было потом жить с мыслью, что она смеялась не так уж громко.

Маргарита села ко мне, потому что Инга нарушила правило.

Вот и всё.

Правило было простое: если все скидывались на праздник, все сидят за столом. Не красивые, не любимые, не удобные, не те, кого Инга выбрала для фотографии, а все. Я принесла сахар. Два пакета. Мама купила. Значит, я имела право сидеть.

Инга решила, что моего права меньше, чем её желания.

Маргарита этого не терпела.

Она вообще не терпела, когда кто-то сам назначал себя законом».

Артём медленно кивнул.

Он уже видел эту девочку. Не так, как видела Светлана,

— в сером свитере, с рукавом, экономящую взгляд. И не так, как Наташа, — сухую, точную, почти беспощадную в своих внутренних правилах.

Он видел расхождение.

А где расхождение — там жизнь.

В дверь ресторана вошли двое мужчин. Один в пальто, второй без шапки, с мокрыми волосами и сердитым лицом человека, который был уверен, что дождь идёт лично против него. Администратор быстро подошла к ним, что-то сказала, мужчины так же быстро вышли обратно.

Зал снова стал пустым.

Артём подумал, что закрытые рестораны похожи на театры за час до спектакля. Всё готово, но зрителей нет, и от этого предметы кажутся честнее людей.

Ему принесли тарелку.

Простое, не указанное в меню, оказалось гречневой кашей с грибами и маленькой солёной огуречной розой сбоку. Роза, конечно, портила простоту, но старалась не слишком. Пахло прекрасно — маслом, жареным луком и чем-то домашним, что в ресторанах обычно имитируют с таким усердием, что получается ностальгия стоимостью в ползарплаты.

— Спасибо, — сказал Артём.

— Если понадобится ещё кофе, скажите, — ответила администратор.

Он машинально спросил:

— Маргарита Павловна часто задерживается?

Вопрос получился слишком журналистским.

Администратор посмотрела на него ровно.

— Маргарита Павловна никогда не задерживается.

И ушла.

Артём положил вилку на край тарелки.

Вот теперь кофе, письмо и мокрый ноябрь окончательно собрались в одну точку.

Никогда не задерживается.

Значит, сегодня происходило что-то нештатное.

Или, наоборот, всё шло точно по плану, просто план был не его.

Он вернулся к письму.

«Вы спрашиваете, что я помню.

Я помню случай с дневником.

О нём Света наверняка не написала. Она вообще многое не пишет, если сама там выглядит плохо.

В шестом классе у нас был мальчик — Лёша Кузнецов. Его все называли Кузя. Он был маленький, щуплый и очень старался всем нравиться. Такие дети удобны для класса. Их можно послать за мелом, попросить подежурить вместо себя, дать списать, а потом сделать вид, что не знакомы, если рядом стоят те, кто посильнее.

Кузя был из семьи, где всё время не хватало денег. Тогда у многих не хватало, но у него это было как-то заметно. Обувь не по сезону, портфель с оторванной ручкой, тетради серые, ручки чужие. Он постоянно занимал мелочь на булочку и по-

что никогда не отдавал. Не потому что хитрил. Просто нечем было.

Однажды у Инги пропали деньги.

Не очень большие. По тем временам, правда, существенные. Ей дали на подарок учительнице к Восьмому марта, кажется. Деньги лежали в дневнике. Дневник был в портфеле. Портфель стоял в классе.

После физкультуры Инга открыла дневник — денег нет. И началось.

Сначала все полезли в свои портфели. Потом стали смотреть друг на друга. Потом кто-то сказал: “Это Кузя”. Не громко. Но достаточно.

Кузя покраснел так, будто его ошпарили.

— Я не брал, — сказал он.

Никто ему не поверил.

Это самое страшное, наверное. Не когда тебя обвиняют. А когда всем удобно, чтобы виноватым был именно ты.

Классная руководительница велела всем выйти из класса, оставила Ингу, Кузю и ещё двух девочек. Потом позвали зауча. Потом Кузю заставили вывернуть карманы.

Я это видела из коридора через стекло в двери.

Он выворачивал карманы и плакал.

Денег у него не нашли.

Но это уже ничего не значило. Если у человека ничего не нашли, всегда можно сказать, что он успел спрятать.

Маргариты в тот момент рядом не было. Она задержалась

в библиотеке. Когда пришла, все уже знали, что Кузя вор.

И вот тут она впервые, кажется, по-настоящему разозлилась.

Не громко. Маргарита вообще редко делала что-то громко. Громкие люди чаще всего хотят свидетелей. Ей свидетели были не нужны.

Она подошла к Инге и спросила:

— Ты видела, как он брал?

Инга сказала:

— А кто ещё?

— Это не ответ.

— Ты что, его защищаешь?

— Я спрашиваю: ты видела?

Инга начала злиться. Класс вокруг них сразу оживился. Мы все любили такие минуты. Сейчас противно вспоминать, но правда: чужая ссора в школе — это развлечение, если бьют не тебя.

Инга сказала:

— У него денег никогда нет. Он всё время занимает. Значит, он.

Маргарита посмотрела на неё и сказала:

— Значит, ты глупая.

Вот это было уже почти самоубийство.

Инге можно было сказать что угодно, но не при всех и не так. Она побелела, потом покраснела, потом сказала:

— Сама ты...

И тут вошла учительница.

Маргариту вызвали после уроков к директору. За грубость.

А вечером деньги нашли.

Они были у Инги дома. В другом дневнике. Она перепутала.

На следующий день Инга сказала: “Ну, бывает”.

Кузе она ничего не сказала.

Учительница тоже.

Завуч сделала вид, что вообще не помнит этой истории.

А Маргарита подошла к Инге перед всем классом и сказала:

— Извинись.

Инга рассмеялась.

— Перед кем?

— Перед ним.

— Ещё чего.

Маргарита повторила:

— Извинись.

Тут уже все молчали.

Инга сказала:

— Не буду.

Маргарита кивнула. Как будто услышала не отказ, а подтверждение диагноза.

Через неделю случилось то, о чём потом говорила вся школа.

У Инги пропала коробка с заколками.

Для вас это, наверное, смешно. Коробка с заколками. Но в нашем классе это была почти корона. У Инги были заколки из Венгрии, резинки с блёстками, какие-то пластмассовые штуки, которые все девочки просили “на один день”. Она держала их в жестяной коробке из-под печенья и иногда приносила в школу, чтобы меняться.

Коробка исчезла.

Инга, конечно, устроила истерику.

И тогда Маргарита сказала:

— Спроси у тех, у кого заколок нет. По твоей логике это они.

Инга поняла не сразу.

А когда поняла, заплакала от злости.

Коробку нашли через два дня в учительской. На шкафу. Не спрашивайте, как она туда попала. Я не знаю.

Точнее, знаю.

Все знали.

Но доказать никто не мог.

Маргариту снова вызывали к директору. Она ничего не сказала. Вообще ничего. Молчала минут двадцать, потом директор устала и отпустила её.

После этого Инга извинилась перед Кузей.

Не потому что поняла.

А потому что испугалась.

Вот поэтому я говорю: Маргарита была не добрая. Доб-

рые утешают обиженного. Справедливые делают так, чтобы обидчик почувствовал устройство мира на себе».

Артём отодвинул тарелку.

Гречка успела остыть, хотя он съел всего пару ложек.

История была почти детской, почти смешной, почти ничего не значащей. Коробка с заколками, дневник, школьный коридор, директор, которая устала от молчания.

Но за этой детской историей вдруг проступило что-то взрослое и совсем не смешное.

Если Рита Колбаскина стала той самой Маргаритой Павловной, к которой сегодня нельзя было опоздать больше чем на десять минут, то детская способность устраивать справедливость без свидетелей могла с возрастом превратиться во что угодно.

В бизнес-стратегию.

В способ выживания.

В привычку мстить.

Он не любил слово «месть». Оно было слишком литературным. В жизни люди редко мстят красиво. Они просто не забывают. А потом в какой-то момент получают возможность поправить старый счёт, и называют это иначе: принципом, порядком, необходимостью, воспитательной мерой.

Артём написал в блокноте:

«Не добрая. Справедливая. Наказание как восстановление равновесия. Молчит под давлением».

Потом подумал и добавил:

«Доказать никто не мог».

Эта строчка ему не понравилась.

Совсем.

Телефон завибрировал. На экране высветилось имя Марины Львовны.

Артём ответил не сразу. Он не любил говорить с редактором, когда у него во рту была гречка, а в голове — чужие заколки на шкафу в учительской.

— Да, Марина Львовна.

— Ты с ней поговорил?

— Нет. Она задерживается.

На другом конце наступила такая пауза, что Артём услышал собственное дыхание.

— Что значит задерживается?

— То и значит. Встреча перенеслась уже почти на час.

— Она не задерживается.

— Мне уже сообщили.

— Кто?

— Администратор.

— Администратор умнее тебя?

— Сегодня — возможно.

Марина Львовна не оценила.

— Артём, слушай внимательно. Если она не пришла вовремя, это не каприз. Она или передумала, или с ней что-то случилось, или она проверяет, как ты ведёшь себя без неё.

— Прекрасный выбор. Особенно мне нравится третий ва-

риант.

— Мне не нравится ни один. Ты где сидишь?

— В зале. Один.

— Не один. Там персонал.

— Персонал делает вид, что меня нет. Очень качественно.

— Это нормально. Значит, их учили.

— Вы меня утешаете?

— Я тебя инструктирую. Не задавай лишних вопросов.

Смотри. Слушай. Запоминай.

— Вы же сами говорили, сначала молчание.

— Молчание — это когда молчишь ты, а не когда вокруг тебя пропадают люди.

Артём посмотрел в сторону стойки.

Администратор стояла на месте, но теперь рядом с ней был высокий мужчина в тёмном костюме. Не официант. Не гость. Охрана? Управляющий? Он говорил тихо, почти не двигая губами. Администратор слушала. Лицо у неё оставалось спокойным, только правая рука слишком крепко держала планшет.

— Марина Львовна, — сказал Артём, — а вы точно уверены, что она сама согласилась на интервью?

— Нет.

— Замечательно.

— Согласие пришло с её официальной почты. От помощника. Это почти то же самое.

— Почти?

— У таких людей “почти” иногда шире, чем у нас с тобой вся жизнь.

— Спасибо, я почувствовал себя успешным.

— Не умничай. Что у тебя есть?

Артём покосился на ноутбук.

— Два письма от одноклассниц. Пока школа. Кличка. Фа-
милия. Молчание. Справедливость. Рукав.

— Рукав?

— Потом объясню.

— Нет, сейчас.

— Левый рукав. В детстве она всё время его поправляла.
Одна одноклассница специально предупредила: если попра-
вит — не смотреть.

— Шрам?

— Возможно.

— Ожог?

— Возможно.

— Следы?

— Марина Львовна.

— Что?

— Вы звучите как человек, который уже пишет заголовок.

— Я звучу как человек, который тридцать лет вытаски-
вает смысл из чужого нежелания говорить. И если женщи-
на, которая не даёт интервью, вдруг соглашается, а потом не
приходит, а ты в это время читаешь про её левый рукав, то
рукав, скорее всего, не рукав.

Артём промолчал.

Он ненавидел, когда редактор была права раньше, чем он успевал сформулировать вопрос.

Высокий мужчина у стойки повернул голову и посмотрел прямо на него.

Не пристально. Не угрожающе. Просто отметил.

Как предмет интерьера, который по какой-то причине начал проявлять самостоятельность.

— Мне кажется, за мной наблюдают, — сказал Артём.

— Конечно, наблюдают. Ты журналист в пустом ресторане, куда тебя пустили ждать человека, который никогда не задерживается. Было бы странно, если бы за тобой не наблюдали.

— Вы умеете успокоить.

— Я не для этого тебе звоню.

— А для чего?

Марина Львовна снова сделала паузу.

— Мне переслали странное сообщение.

— Какое?

— От человека, который устроил интервью.

— Помощника?

— Да. Текст короткий: “Если Синицын уже там, пусть не уходит”.

Артём почувствовал, как внутри что-то неприятно сжалось.

— И всё?

— И всё.

— Когда пришло?

— Три минуты назад.

— Вы ему звонили?

— Телефон выключен.

— Маргарите Павловне?

— На прямой номер я не звоню.

— Почему?

— Потому что прямой номер мне дали для чрезвычайного случая, а я пока не знаю, чей он — наш или её.

Артём посмотрел на свою остывшую гречку.

Простые вещи в неуказанном меню внезапно перестали казаться простыми.

— Что мне делать?

— Сидеть.

— Очень активный план.

— Иногда сидеть — самое трудное. Особенно когда тебя хотят заставить встать.

— А меня хотят?

— Пока не знаю.

— Марина Львовна, вы могли бы хотя бы один раз сказать “всё будет хорошо”?

— Не порть мне репутацию.

Она отключилась.

Артём ещё несколько секунд держал телефон у уха, потом положил его рядом с ноутбуком.

В ресторане было тихо.

Слишком тихо.

Такая тишина бывает не там, где ничего не происходит, а там, где все уже знают, что происходит, и стараются не стать первыми, кто это произнесёт.

Он снова открыл письмо Наташи.

Оставалось ещё несколько абзацев.

«Я не знаю, что из неё выросло.

В интернете пишут разное. Я видела фотографии. Красивые залы, благотворительные вечера, премии, интервью без интервью — знаете, когда человек вроде бы говорит, но ничего не отдаёт. На фотографиях она хорошо выглядит. Спокойно. Дорого. Не как человек, который был Колбасой.

Но я почему-то уверена: она всё помнит.

Не нас, может быть. Не наши лица. Не эту школу. Но сам механизм помнит.

Кто сидит за столом.

Кого отодвинули к окну.

Кто назначил себя законом.

Кто промолчал, когда надо было сказать.

Вот это она помнит.

И если вы будете с ней говорить, не пытайтесь вызвать в ней жалость. У вас не получится. Она распознает это сразу и закроется.

Спросите её лучше, кого она до сих пор не простила.

Хотя нет.

Не спрашивайте.

Если она ответит, вам может не понравиться».

Письмо заканчивалось без подписи.

Просто точка.

Артём перечитал последнюю фразу и вдруг понял, что больше не хочет открывать третье письмо.

Не потому что испугался. Хотя, возможно, именно поэтому.

Он поднял глаза.

Высокий мужчина в тёмном костюме уже шёл к нему через зал.

Шёл неторопливо, мягко, почти беззвучно. Такие люди не спешат не потому, что им некуда, а потому, что они заранее знают: всё равно успеют.

Артём закрыл ноутбук наполовину, но не до конца.

Мужчина остановился у его стола.

— Артём Сеницын?

— Да.

— Прошу прощения за ожидание.

— Вы помощник Маргариты Павловны?

— Нет.

— Управляющий?

Мужчина чуть заметно улыбнулся.

— В некотором смысле.

Артём тоже улыбнулся. Журналистская улыбка — особый инструмент. Ею можно пользоваться как зонтиком, отвёрт-

кой или крышкой от кастрюли, если на кухне пожар.

— А в прямом смысле?

— В прямом смысле я отвечаю за безопасность.

Охрана, значит.

Или что-то хуже, потому что люди, отвечающие за безопасность, редко называют себя охранниками. Как уборщицы в приличных местах называются специалистами по клинингу, а человек с серьёзным лицом и правом не пускать — сотрудником службы безопасности.

— Что-то случилось?

— Пока нет.

— Обнадёживает.

Мужчина посмотрел на его тарелку.

— Вам понравилось?

— Гречка? Да. Особенно драматическая подача.

— Маргарита Павловна считает, что человеку, который ждёт, нужно предложить еду.

— Она успела распорядиться?

— Она всегда распоряжается заранее.

Артём почувствовал раздражение.

Не сильное. Пока профессиональное. Но оно было лучше тревоги.

— А прийти заранее она тоже распоряжается?

Мужчина не изменился в лице.

— Маргарита Павловна просила передать, что встреча состоится.

— Когда?

— Сегодня.

— Это радует. Сегодня пока ещё длинное.

— И просила вас не открывать третье письмо.

Артём замер.

Вот теперь в ресторане действительно стало тихо.

Даже приборы где-то вдалеке перестали звякать. Или это у него внутри всё выключилось, оставив только одну лампочку над словами: «третье письмо».

Он медленно положил ладонь на крышку ноутбука.

— Простите?

— В вашем списке следующее письмо — третье, — спокойно сказал мужчина. — Маргарита Павловна просила его пока не открывать.

— Она читает мою почту?

— Нет.

— Тогда откуда она знает, сколько я открыл?

— Она знает, кому вы писали. И знает, кто ответил.

— Это не одно и то же.

— Разумеется.

— А вы понимаете, как это звучит?

— Да.

— И как?

— Неприятно.

Артём впервые посмотрел на него внимательно.

Лет сорок пять. Может, чуть больше. Короткие тёмные во-

лосы с проседью у висков. Лицо не военное, не бандитское, не чиновничье. Просто лицо человека, который давно привык быть рядом с чужими секретами и не считать их секретами, если ему поручено стоять у двери.

— Как вас зовут? — спросил Артём.

— Борис.

— Просто Борис?

— Для сегодняшнего вечера достаточно.

— А если мне недостаточно?

— Тогда вам будет неудобно.

Сказано было без нажима. Даже почти вежливо.

Артём открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент телефон Бориса коротко завибрировал.

Он посмотрел на экран.

Впервые за всё время его лицо изменилось.

Не сильно. Но Артём успел заметить.

Борис убрал телефон в карман.

— Маргарита Павловна подъехала.

— Наконец-то.

— Нет, — сказал Борис. — Не наконец-то.

И тут где-то в глубине ресторана, за закрытой дверью служебного коридора, раздался женский голос.

Не крик.

Крик был бы проще.

Это был короткий, сдавленный звук человека, который увидел нечто такое, во что мозг ещё не согласился поверить,

а тело уже поверило.

Борис резко повернулся.

Администратор у стойки побледнела.

Артём встал.

— Сидите, — сказал Борис, не оборачиваясь.

— Я журналист, а не мебель.

— Сейчас лучше быть мебелью.

Он пошёл к служебной двери.

Артём, конечно, пошёл следом.

Потому что журналисты в этом смысле ничем не отличаются от школьников в коридоре: если где-то начинается чужая ссора, чужая беда или чужая тайна, они делают вид, что идут за мелом.

Служебная дверь была приоткрыта.

Из-за неё пахло холодом.

Не кухней, не моющими средствами, не ресторанным теплом, а улицей. Мокрым асфальтом, ноябрём и чем-то металлическим.

Борис остановился на пороге так резко, что Артём едва не врезался ему в спину.

— Назад, — сказал Борис.

Но Артём уже увидел.

В узком коридоре, ведущем к чёрному входу, стояла женщина.

Высокая, очень прямая, в тёмном пальто, с мокрыми волосами, убранными назад. Лицо бледное, спокойное до

невозможности. В левой руке она держала кожаную перчатку.

Правой рукой она придерживала левый рукав.

А на белой стене рядом с ней, на уровне плеча, было написано красным.

Одно слово.

КОЛБАСА.

Женщина повернула голову и посмотрела на Артёма.

Экономно.

Так, будто не хотела тратить на него зрение.

— Вы Синицын? — спросила она.

Голос у неё был низкий и усталый.

— Да.

— Хорошо, что не ушли.

Артём почему-то не нашёлся, что ответить.

Маргарита Павловна посмотрела на надпись, потом снова на него.

— Теперь, — сказала она, — у нас с вами действительно есть тема для разговора.